

## Глава II

*Кетчер. – Несколько слов о кружке, к которому принадлежал он. – М. С. Щепкин и его семейство. – Поездка в Химки к нему на дачу. – Гоголь у Аксаковых. – Чтение I главы «Мертвых душ». – Представление «Ревизора» в присутствии автора. – Н. Ф. и К. К. Павловы. – Кетчер и Павловы.*

Кружок Белинского был в очень коротких и близких сношениях с М. С. Щепкиным и его семейством. Я был знаком с Михайлом Семенычем еще до приезда моего в Москву и тотчас по приезде познакомился с его семейством.

У Щепкина часто сходились Катков, Белинский, братья Бакунины и Кетчер, переводчик Шекспира. Кетчер был домашним человеком в доме Щепкина. Он, впрочем, имел свойство делаться домашним человеком всюду, куда ни появлялся. С бесцеремонным участием он входил тотчас же во все семейные дела... Кетчер пользовался между всеми своими близкими и в кружке Белинского репутациею необыкновенно прямого, честного человека, готового хоть на плаху за друзей своих.

Наружность Кетчера не имела большой привлекательности; но простота его манер, доходящая до грубости, бесцеремонность обращения со всеми, впадающая в некоторый цинизм, резкая, непрощенная правда, которую он бросает в лицо и другу и недругу, крикливый голос, заглушающий все голоса, руки, вечно движущиеся и рассекающие воздух, как крылья ветряной мельницы, добродушный, но оглушающий хохот на каждом шагу, вырывающийся из огромного рта, – все это вместе, может быть, неприятно действует на людей нервических, но как-то располагает к нему невольно и внушает доверенность. Приятели Кетчера, подшучивая над ним, уверяли, что он только в месяц раз умывается и не имеет в заводе ни гребня, ни щетки, потому что никогда не чешет головы. Впрочем, гребень и не нужен ему, потому что волосы его, всегда подстриженные коротко, образуют на его голове щетинистую шапку.

Кетчер был приятелем Белинского и его друзей, но он, собственно, не принадлежал к их кружку...

За несколько лет до этого он сошелся с Искандером, когда еще тот был студентом Московского университета, и с его друзьями и товарищами по университету Огаревым и Сатиным.

...У них образовался свой кружок, главою которого сделался Искандер. С блестящими способностями, с пытливым умом, жаждавшим знания и не останавливавшимся ни перед какими преградами преданий, взращенный на французской литературе XVIII века, пылкий и остроумный, Искандер скоро обратил на себя внимание всей мыслящей Москвы... Среди юношеского разгула за бутылками шампанского, разливаемого Кетчером с криками и хохотом (Искандер и Огарев не имели недостатка в средствах), приятели горячо рассуждали о разных общественных, исторических и политических вопросах. Они принадлежали в то время к числу немногих у нас, постоянно следивших за политическим движением...

Искандер познакомился с Белинским, статьи которого начинали уже обращать на себя внимание; но они не могли сойтись в то время, как сошлись впоследствии.

Белинский и его кружок, занятый исключительно философскими отвлеченностями и категориями, весь погруженный в Гегеля, чуждый политических современных вопросов и движения, даже не замечавший их на высотах своего мирозерцания, не очень благосклонно поглядывал на кружок, образовавшийся под влиянием Искандера, который не увлекался немецкой философией и имел направление более практическое. Искандер и Белинский поговорили друг с другом и разошлись, конечно, с полным уважением друг к другу, но с убеждением, что им вместе делать нечего.

Белинский сожалел Искандера, Искандер еще более скорбел о Белинском... Вскоре, впрочем, судьба разбросала Искандера и его друзей по разным углам России. Кетчер один остался в Москве.

\* \* \*

Белинский любил Кетчера, но замечал иногда, что он «тяжело действует на его нервы». Он называл его несносным крикуном – в глаза. «Все они прекрасные люди, – говорил Белинский о кружке Искандера, – но их привычки и вино, которое льется на их сходках, – все это не по моей натуре. Из них только один Искандер – человек необыкновенно замечательный, блестящий и остроумный».

...Каким образом и где я познакомился с Кетчером, я хорошенько не помню. Мне теперь кажется, что знаком с ним с самого рождения. Знаю только то, что через пять минут после нашего знакомства мы были уже на ты, и Кетчер обращался в первый день знакомства со мною так же бесцеремонно, как с теми, с которыми он был дружен несколько лет... Я как теперь вижу его перед собою, с бутылкою шампанского в руке, наливающего мне стакан с диким хохотом и кричащего: «Ну, пей же, братец, пей!»

В июне месяце Щепкин с семейством переехал на дачу близ Химок (первая станция от Москвы), и мы отправились к нему с Белинским и Кетчером. Кетчер явился ко мне в черном плаще без воротника, подбитом красным стаметом, как дьявол в «Роберте», и с корзинкою, из которой торчала солома.

– Что за корзинка? – спросил я его. Кетчер захохотал во все горло.

– Ах ты, шут эдакой! – закричал он: – кто ж об этом спрашивает? Натурально, это дорожный запас. У нас, брат, без этого никуда не ездят; тут две бутылки моих и две твоих, – понимаешь теперь?..

Всю дорогу Кетчер кричал без умолку, доказывая преимущества Москвы перед Петербургом во всех отношениях, и между прочим немилосердно ругал петербургских журналистов...

День был душный. Страшно парило. Пот лил с нас градом; я и Белинский задыхались от шоссейной пыли и не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. Но на Кетчера ничто не действовало... Он все кричал, хохотал и размахивал руками... Когда мы подъезжали к дому, где жили Щепкины и которого не видно с большой дороги, Кетчер пребольно ударил меня по плечу.

– Вот и Химки!.. Смотри, смотри! Ну, есть ли что-нибудь подобное у вас в Петербурге?.. Ваши дачи – ведь это скверные карточные домики на тине и болоте, – а это, смотри – какая роскошь!..

Перед нами на холму был старый деревянный довольно большой помещичий дом, с прудом наперед и с густым садом назади, из-за которого поднималась зеленая глава церкви. Пруд был в цвету. Поверхность его была покрыта круглыми листьями, дорожки сада заросли, сад, разросшийся на свободе, начинал глохнуть... Место, действительно, было прекрасное. За садом гладкое необозримое поле, засеянное хлебом...

Когда мы свернули с большой дороги и спустились в овраг, кругом густо заросший деревьями, на нас так и пахло свежестию и запахом деревни. Поднимаясь на горку, мы увидели маленькую, круглую фигурку Щепкина, в летнем костюме и в соломенной шляпе с большими полями. Кетчер при этом встал в коляске, замахал руками и начал издавать какие – то крикливые звуки с хохотом...

Все это я помню живо, с мельчайшими подробностями, хоть 22 года прошло с тех пор!..

Михаиле Семеныч встретил нас с распростертыми объятиями, и мы с каким-то наслаждением прикладывались к его мягким и полным щекам, дрожавшим при малейшем движении...

Щепкину было тогда лет за пятьдесят, и несмотря на свою тучность, он был еще очень бодр и жив.

Многочисленное семейство его едва помещалось в этом помещицьем деревенском доме. Кроме четырех его сыновей, из которых старший, Дмитрий, был уже на службе, а двое (Николай и Петр) студентами университета, – у него жили два молодых человека Барсовы, сироты, дети его сценического приятеля, и две пожилые девицы – сестры его, так же маленькие и толстенькие, как он, с мужскими манерами, не выпускавшие изо рта чубуков и немилосердно истреблявшие жуков табак... Старшая дочь Щепкина, болезненная и слабая, почти не выходила из своей комнаты; вторая, имевшая южный тип своей матери (женщины очень кроткой и симпатичной), уже дебютировала с успехом на московской и на разных провинциальных сценах... Она незадолго перед этим ездила с отцом в Казань, где произвела большой эффект... У нее в это время было множество поклонников и, между прочим, один из самых юных приятелей Белинского, принадлежавший к его кружку. Незадолго до этого, кажется, и сам Белинский был не совсем равнодушен к ней. Меньшая дочь Щепкина была еще ребенком.

В комнатах был порядочный хаос, точно как будто семейство перебралось сюда накануне. В большой комнате в середине дома, из которой был выход через балкон в сад, был накрыт длинный стол... В этой же комнате лежал на полу огромный пуховик, на котором сидела одна из сестер Щепкина с длинным чубуком во рту.

Кетчер прежде всего позаботился, чтобы шампанское поставили на лед. Он расхаживал по всем комнатам, хохотал, кричал и отпускал дамам дешевые остроты, которыми сам был всех довольнее.

Между посторонними мы нашли здесь М. Н. Каткова, который был отчего-то в трагическом настроении: складывал руки по-наполеоновски, потуплял задумчиво голову и потом рассеянно поднимал ее, щуря свои маленькие глазки, ходил в отдалении от других, нахмурия брови, и бесился на Кетчера, который беспрестанно приставал к нему с шуточками, сопровождавшимися хохотом.

До обеда хозяин дома, его сыновья и Катков отправились купаться на пруд. Мы смотрели на них с берега. Щепкин-отец, великий мастер плавать, представлял нам разные фокусы на воде и между прочими остров: он весь скрывался в воде, обнаруживая только один круглый и полный живот свой.

За обедом Щепкин, с свойственным ему мастерством, рассказывал нам разные анекдоты и случаи из своей жизни, между прочим и Сороку-Воровку, которую впоследствии, со слов его, так хорошо изложил Искандер. Кетчер разливал шампанское и кричал: «да ну, пейте же, пейте!», сам подавая пример всем. Он ходил кругом стола с бутылкою, как-то страшно размахивал ею, строго следя за непьющими, и останавливался перед недопитым бокалом с криками: «Это что такое? сейчас допивать! Дрянь вы! Сколько вас тут, а четырех бутылок не могут допить!»

Всякий раз, когда Кетчер проходил мимо Белинского, тот хмурил брови и беспокойно взглядывал на него, но Кетчер, смотря на него с сожалением и качая головою, говорил:

– Не бойся, не бойся, не налью... Уж я тебя не трогаю, чорт с тобой!

Белинский однажды (это он сам мне рассказывал, говоря о Кетчере) серьезно поссорился с Кетчером, принуждавшим его пить, и взял с него слово, чтобы он никогда не приставал к нему с вином. С тех пор Кетчер постоянно обходил его с бутылкой, отпуская, впрочем, каждый раз на счет его какие-нибудь остроты...

В это время Щепкин был в полном расцвете своего таланта. Он производил тогда фурор в роле «городничего»... Влияние его на молодых людей, вступавших на сцену, было велико и благотельно: он внушал им серьезную любовь к искусству и своими советами и замечаниями о игре их много способствовал их развитию, Щепкина ценили и любили все литераторы, и все были близки с ним. Шевырев отзывался об нем и его таланте с таким же энтузиазмом, как и Белинский... Блестящие рассказы Щепкина, исполненные малороссийского юмора, его наружное добродушие, вкрадчивость и мягкость в обращении со всеми, его пламенная любовь к искусству, о которой он твердил всем беспрестанно; толки о его семейных добродетелях, о том, что он, несмотря на свои незначительные средства и огромное семейство, содержит еще на свой счет сирот – детей своего товарища, и т. д., – все это, независимо от его таланта, делало для тогдашней молодежи Щепкина лицом в высшей степени интересным и симпатичным... Темные слухи, робко выходившие откуда-то, о том, что Щепкин будто бы интриган и человек, умеющий ловко и льстиво подделываться к начальству и к сильным мира сего, были с негодованием заглушаемы... Для меня Щепкин казался идеалом артиста и человека. Я даже чувствовал к нему вроде сыновней нежности. После «Ревизора» любовь Щепкина к Гоголю превратилась в благоговейное чувство. Когда он говорил об нем или читал отрывки из его писем к нему, лицо его сияло и на глазах показывались слезы – предвестники тех старческих слез от расслабления глазных нерв, которые льются у него теперь так обильно, кстати и некстати. Он передавал каждое самое простое и незамечательное слово Гоголя с несказанным умилением и, улыбаясь сквозь слезы, восклицал: «Каков! каков!» И в эти минуты голос и щеки его дрожали...

После обеда, когда мы с старшим сыном Щепкина, погуляв по саду, возвратились в дом, я заметил во всех какое-то беспокойство... Катков был бледен, как смерть, и дышал неровно; около него ухаживал Кетчер с участием и с хохотом; Белинский, также несколько изменившийся в лице, тревожно прохаживался по комнате.

Мне стало неловко. Я понял, что тут происходит какая-то маленькая драма. Белинский вышел со мною в другую комнату...

– Пройдемтесь по саду, – сказал он мне. Мы пошли в сад. Белинский молчал.

– Что такое с Катковым? – спросил я.

– С ним было дурно, – отвечал Белинский: – к тому же он еще совершенный ребенок и любит мелодраматические сцены...

Белинский остановился на этом. Я, разумеется, не расспрашивал его более и заговорил о другом...

Перед отъездом нашим Михайло Семеныч объявил мне, что он на-днях будет обедать у Сергея Тимофеича с Гоголем (который только что приехал в Москву), и с таинственным тоном прибавил умиленным и дрожавшим голосом:

– Ведь он, кажется, намерен прочесть там что-то новенькое!

Действительно, через несколько дней после этого Сергей Тимофеич пригласил меня обедать, сказав, что у него будет Гоголь и что он обещал прочесть первую главу «Мертвых душ».

Я ожидал этого дня с лихорадочным нетерпением и забрался к Аксаковым часа за полтора до обеда. Щепкин явился, кажется, еще раньше меня...

В исходе четвертого прибыл Гоголь... Он встретился со мною, как с старым знакомым, и сказал, пожав мне руку:

– А, и вы здесь... Каким образом?

Нечего говорить, с каким восторгом он был принят. Константин Аксаков, видевший в нем русского Гомера, внушил к нему энтузиазм во всем семействе. Для Аксакова-отца сочинения Гоголя были новым словом. Они вывели его из рутины старой литературной школы (он принадлежал к самым записным литераторам-рутинерам) и пробудили в нем новые, свежие силы для будущей деятельности. Без Гоголя Аксаков едва ли бы написал «Семейство Багровых».

День этот был праздником для Константина Аксакова... С какою любовью он следил за каждым взглядом, за каждым движением, за каждым словом Гоголя! Как он переглядывался с Щепкиным! Как крепко жал мне руки, повторяя:

– Вот он, наш Гоголь! Вот он!

Гоголь говорил мало, вяло и будто нехотя. Он казался задумчив и грустен. Он не мог не видеть поклонения и благоговения, окружавшего его, и принимал все это, как должное, стараясь прикрыть удовольствие, доставляемое его самолюбью, наружным равнодушием. В его манере вести себя было что-то натянутое, искусственное, тяжело действовавшее на всех, которые смотрели на него не как на гения, а просто как на человека...

Чувство глубокого, беспредельного уважения семейства Аксаковых к таланту Гоголя проявлялось во внешних знаках с ребяческой, наивной искренностью, доходившей до комизма. Перед его прибором за обедом стояло не простое, а розовое стекло; с него начинали подавать кушанье; ему подносили любимые им макароны для пробы, которые он не совсем одобрил и стал сам мешать и посыпать сыром.

После обеда он развалился на диване в кабинете Сергея Тимофеича и через несколько минут стал опускать голову и закрывать глаза – в самом ли деле начинал дремать или притворялся дремлющим... В комнате мгновенно все смолкло.. Щепкин, Аксаковы и я вышли на цыпочках. Константин Аксаков, едва переводя дыхание, ходил кругом кабинета, как часовой, и при чьем-нибудь малейшем движении или слове повторял шопотом и махая руками:

– Тсс! тсс! Николай Васильич засыпает!..

Об обещанном чтении Гоголь перед обедом не говорил ни слова; спросить его, сдержит ли он свое обещание, никто не решался... Покуда Гоголь дремал, у всех только был в голове один вопрос: прочтет ли он что-нибудь и что прочтет?.. У всех бились сердца, как они всегда бьются в ожидании необыкновенного события...

Наконец Гоголь зевнул громко.

Константин Аксаков при этом заглянул в щелку двери и, видя, что он открыл глаза, вошел в кабинет. Мы все последовали за ним.

– Кажется, я вздремнул немного? – спросил Гоголь, зевая и посматривая на нас...

Дамы, узнав, что он проснулся, вызывали Константина Аксакова и шопотом спрашивали – будет ли чтение? Константин Аксаков пожимал плечами и говорил, что ему ничего неизвестно.

Все томились от этой неизвестности, и Сергей Тимофеич первый решился вывести всех из такого неприятного положения.

– А вы, кажется, Николай Васильич, дали нам обещание?.. вы не забыли его? – спросил он осторожно...

Гоголя подернуло несколько.

– Какое обещание?.. Ах, да! Но я сегодня, право, не имею расположения к чтению и буду читать дурно, вы меня лучше уж избавьте от этого...

При этих словах мы все приуныли; но Сергей Тимофеич не потерял духа и с большою тонкостью и ловкостью стал упрашивать его... Гоголь отговаривался более получаса, переменяя беспрестанно разговор. Потом потянулся и сказал:

– Ну, так и быть, я, пожалуй, что-нибудь прочту вам... Не знаю только, что прочесть?.. – И приподнялся с дивана.

У восторженнейшего Щепкина задрожали щеки; Константин Аксаков весь просиял, будто озаренный солнцем; повсюду пронесся шопот: «Гоголь будет читать!»

Гоголь встал с дивана, взглянув на меня не совсем приятным и пытливым глазом (он не любил, как я узнал после, присутствия мало знакомых ему лиц при его чтениях) и направил шаги в гостиную. Все последовали за ним. В гостиной дамы уже давно ожидали его.

Он нехотя подошел к большому овальному столу перед диваном, сел на диван, бросил беглый взгляд на всех, опять начал уверять, что он не знает, что прочесть, что у него нет ничего обделанного и оконченного... и вдруг икнул раз, другой, третий...

Дамы переглянулись между собою, мы не смели обнаружить при этом никакого движения и только смотрели на него в тупом недоумении.

– Что это у меня? точно отрывка? – сказал Гоголь и остановился. Хозяин и хозяйка дома даже несколько смутились... Им, вероятно, пришло в голову, что обед их не понравился Гоголю, что он расстроил желудок...

Гоголь продолжал:

– Вчерашний обед засел в горле: эти грибки да ботвиньи! Ешь, ешь, просто чорт знает, чего не ешь...

И заикался снова, вынув рукопись из заднего кармана и кладя ее перед собою... «Прочитать еще „Северную пчелу“, что там такое?..» – говорил он, уже следя глазами свою рукопись.

Тут только мы догадались, что эта икота и эти слова были началом чтения драматического отрывка, напечатанного впоследствии под именем «Тяжбы». Лица всех озарились смехом, но громко смеяться никто не смел... Все только посматривали друг на друга, как бы говоря: «Каково? каково читает?» Щепкин заморгал глазами, полными слез.

Чтение отрывка продолжалось не более получаса. Восторг был всеобщий; он подействовал на автора.

– Теперь я вам прочту, – сказал он, – первую главу моих «Мертвых душ», хоть она еще не обделана...

Все литературные кружки перед этим уже были сильно заинтересованы слухами о «Мертвых душах». Гоголь, если я не ошибаюсь, прежде всех читал начало своей поэмы Жуковскому. Говорили, что это произведение гениальное... Любопытство к «Мертвым душам» возбуждено было не только в литературе, но и в обществе.

Нечего говорить, как предложение Гоголя было принято его поклонниками...

Гоголь читал неподражаемо. Между современными литераторами лучшими чтецами своих произведений считаются Островский и Писемский: Островский читает без всяких драматических эффектов, с величайшею простотою, придавая между тем должный оттенок

каждому лицу; Писемский читает, как актер, – он, так сказать, разыгрывает свою пьесу в чтении... В чтении Гоголя было что-то среднее между двумя этими манерами. Он читал драматичнее Островского и с гораздо большею простотою, чем Писемский...

Когда он окончил чтение первой главы и остановился, несколько утомленный, обведя глазами своих слушателей, его авторское самолюбие должно было удовлетвориться вполне... На лицах всех ясно выражалось глубокое впечатление, произведенное его чтением. Все были и потрясены и удивлены. Гоголь открывал для своих слушателей тот мир, который всем нам так знаком и близок, но который до него никто не умел воспроизвести с такою беспощадною наблюдательностию, с такою изумительною верностию и с такою художественною силою... И какой язык-то! язык-то! Какая сила, свежесть, поэзия!.. У нас даже мурашки пробежали по телу от удовольствия.

После чтения Сергей Тимофеич Аксаков в волнении прохаживался по комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и значительно посматривал на всех нас... «Гениально, гениально!» – повторял он.

Глазки Константина Аксакова сверкали, он ударял кулаком о стол и говорил:

– Гомерическая сила! гомерическая!

Дамы восторгались, ахали, рассыпались в восклицаниях.

Гоголь еще более вырос после этого чтения в глазах всех...

На другой день я с Константином Аксаковым отправился к Белинскому...

Аксаков передал ему о вчерашнем чтении с энтузиазмом, он говорил, что после первой главы «Мертвых душ» нельзя уже сомневаться в том, что Гоголь гений и что он подарит русскую литературу колоссальным произведением, в котором отразится вся Русь.

Белинский слушал Аксакова с жадностию и смотрел на нас с завистию.

– Чорт вас возьми, счастливицы! – сказал он: – я не знаю, чего бы я не дал, чтобы выслушать теперь эту главу...

Белинский в это время еще не был лично знаком с Гоголем. (Он познакомился с ним впоследствии в Петербурге у Прокоповича.) После выхода «Миргорода» Белинский поражен был художественной силой Гоголя, особенно выразившейся в «Старосветских помещиках» и «Невском проспекте». От «Ревизора» он был вне себя.

Значение этой комедии он понял один из первых. Пушкин восхищался только удивительным комизмом автора...

Замечательно, что когда впоследствии Белинский начал разьяснять великое общественное значение произведений Гоголя, Гоголь пришел в ужас от этих разьяснений и объявил, что вовсе не имел в виду того, что приписывают ему некоторые критики.

Гоголь, друг Жуковского и других литературных авторитетов, смотревших на Белинского очень неблагоприятно, между прочим боялся, кажется, что энтузиазм к нему молодого, не признаваемого ими критика может несколько скомпрометировать его в глазах их...

Сергей Тимофеич Аксаков уговорил Загоскина (который не слишком жаловал Гоголя) дать «Ревизора» на московской сцене по случаю приезда Гоголя в Москву...

Спектакль этот дан был сюрпризом для автора: Щепкин и все актеры наперерыв друг перед другом старались отличиться перед ним. Большой московский театр, редко посещаемый

публикою летом, был в этот раз полон. Все московские литературные и другие знаменитости были здесь в полном сборе: в первых рядах кресел и в ложах бельэтажа. Белинский, Боткин и их друзья, еще не принадлежавшие тогда к знаменитостям, помещались в задних рядах. Все искали глазами автора, все спрашивали, где он? Но его не было видно. Только в конце второго действия его открыл Н. Ф. Павлов в углу бенуара г-жи Чертовой.

По окончании третьего акта раздались громкие крики: «Автора! автора!» Громче всех кричал и хлопал К. Аксаков. Он решительно выходил из себя...

– Константин Сергеич!.. Полноте!.. поберегите себя!.. – восклицал Николай Филиппыч Павлов, подходя к нему, смеясь и поправляя свое жабо...

– Оставьте меня в покое, – отвечал сурово Константин Аксаков и продолжал хлопать еще яростнее.

– За что же сердиться? Я желаю вам добра... Вот, – продолжал он, обращаясь ко мне, – Константин Сергеич на меня сердится за то, что я уговариваю его умерить свой энтузиазм, который может повредить его здоровью... В самом деле, ведь это вредно для здоровья так выходить из себя? Правда? а?..

Гоголь при этих неистовых криках (я следил за ним) все спускался ниже и ниже на своем стуле и почти выполз из ложи, чтобы не быть замеченным.

Занавес поднялся.

Актер вышел и объявил, что «автора нет в театре».

Гоголь, действительно, уехал после третьего действия, к огорчению артистов, употреблявших все богом данные им способности для того, чтобы заслужить похвалу автора.

На публику этот отъезд произвел также неприятное впечатление; даже Константин Аксаков был недоволен этим.

– Нет, ваш Гоголь уж слишком важничает, – говорил ему Николай Филиппович: – вы его избаловали... Не правда ли? а?.. Согласитесь, что он поступил неприлично и относительно публики и относительно артистов?.. а? Правду ведь я говорю?

– Да, это он сделал напрасно, – заметил К. Аксаков с огорчением...

Николай Филиппыч Павлов сидел в первом ряду, в желтых перчатках, в лакированных сапогах, от время до время вынимал из кармана золотую табакерку и с какою-то особенною грациею понюхивал табак. В антрактах он прогуливался по театральной зале, заговаривая со всеми знаменитостями. Если бы я не имел удовольствия лично знать автора «Трех повестей», я принял бы его, наверно, за какого-нибудь знатного московского барина по его наружной изящности и особнным манерам.

Белинский, робкий, неловкий, не имевший никаких манер, – в поношенном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, – был просто жалок, когда он стоял рядом с Павловым, благосклонно с ним разговаривавшим и подносявшим ему свою золотую табакерку (Белинский нюхал табак).

Время, о котором я говорю, было самым цветущим временем Н. Ф. Павлова, незадолго перед этим вступившего в брачный союз с известною московскою поэтессою, девицею Яниш, которая, кроме своего таланта, владела еще тысячею душами крестьян и домом на Сретенском бульваре, с парадной лестницей и швейцаром...

Павлов победил ее своими «Тремя повестями», которые произвели фурор при своем появлении, – и она отдала свое поэтическое сердце и свою руку счастливому повествователю.

Когда Николай Филиппович представил меня своей супруге, я ощутил невольно некоторую робость...

Передо мною была высокая, худощавая дама, вида строгого и величественного, как леди Локлевен Вальтер-Скотта. В ее позе, в ее взгляде было что-то эффектное, риторическое. Она остановилась между двумя мраморными колоннами, с чувством достоинства слегка наклонила голову на мой поклон и потом протянула мне свою руку с величием театральной царицы... Мне казалось, что мне следовало в эту минуту стать на колени, чтобы приложиться к ней, – однако я просто пожал ее.

Через пять минут я узнал от г-жи Павловой, что она пользовалась большим вниманием Алекс. Гумбольдта и Гете и что последний написал ей несколько строк в альбом... Затем был принесен альбом с этими драгоценными строками... Через четверть часа Каролина Карловна продекламировала мне несколько стихотворений, переведенных ею с немецкого и английского...

Когда я короче познакомился с Каролиной Карловной, я заметил, что манеры ее, несмотря на их театральное величие, отзывались иногда не совсем приятно грубоватостью.

Однажды Н. Ф. Павлов, в гостиной дома Аксаковых, стоял перед зеркалом и натягивал желтые перчатки. Он хотел отправиться куда-то. Супруги его не было... Она приехала после и вошла в гостиную в ту минуту, когда он охорашивался у зеркала... Она значительно мигнула г-же Аксаковой, приставила палец ко рту и, на цыпочках пробравшись к супругу, изо всей силы ударила его в спину.

Николай Филиппович вскрикнул во все горло, покорчиваясь обернулся назад, взглянул на свою супругу и сказал:

– А я думал, что это меня какой-нибудь солдат ударил в спину...

Каролина Карловна приезжала в Москву изредка. Она жила на даче по Владимирской дороге, и К. Аксаков раза два возил меня к ней... Я помню, что в один из этих приездов мы сидели втроем на балконе дачи и забавлялись шуточными переводами некоторых стихотворений Виктора Гюго, между прочим:

*Ce siecle avait deux ans, Rome remplaçait Sparte...* и т. д.

Я помню два первые стиха нашего подстрочного перевода:

Сей век о двух годах. Рим Спарту заменил,  
Под Бонапартом уж Наполеон сквозил...

Каролина Карловна находила эти стихи очень забавными и торжественно декламировала их, распростирая в воздухе правую руку.

Несколько лет после этого, в один из приездов моих в Москву, она жила на той самой даче в Соколове по петербургской дороге, которую занимал впоследствии Искандер. В день ее рождения (кажется, в июле) я вместе с Сатиным приглашен был к ней обедать. Мы приехали к четырем часам.

У подъезда и на крыльце нас встретили лакеи в летних платьях с гербовыми пуговицами... Чей герб был на этих пуговицах: Николая Филипповича или Каролины Карловны, или два их соединенные герба, – я не знаю.

Николай Филиппович повел нас в небольшую комнату, где находилось уже несколько гостей. На столе перед диваном стояла большая открытая шкатулка, обитая внутри малиновым бархатом. Это был дамский дорожный несесер с вызолоченными вещами, поднесенный Николаем Филипповичем супруге и поставленный здесь, вероятно, на удивление гостей.

Хозяин дома, до появления хозяйки, занимал нас рассказами... Николай Филиппович Павлов есть живое доказательство понятливости, ловкости и сметливости русского человека. Его назначали в актеры, и он получил первое образование в театральной московской школе. Можно представить себе, что это было за образование; притом сценического таланта у него не оказалось ни малейшего; но его бойкий ум, переимчивость, смелость, его замечательные способности обратили на него особенное внимание Кокошкина. Павлов выучился довольно порядочно по-французски и даже начал говорить очень недурно на этом языке... Он, кажется, занимался также и английским языком, доказательством чего служит его перевод «Венецианского купца» Шекспира. В доме Кокошкина, куда съезжалась вся аристократическая Москва, он приобрел знакомства, получил внешнюю полировку, превратился, наконец, в совершенного московского джентльмена – и оставил сцену. Кокошкин определил его на службу...

Павлов вышел в отставку и обратился к литературе... Имя его приобрело громкую известность «Тремя повестями». Либеральное направление этих повестей обратило на автора внимание правительства. Говорят, будто даже сам император удостоил их прочтения и, строго осудив их неблагонамеренное направление, заметил, чтобы посоветовать талантливому автору избегать впредь такого рода сюжетов, что он может заняться, например, описанием кавказской природы или чем-нибудь подобным... Этим повестям Павлов обязан, как я уже заметил, и браком своим с девицею Яниш...

У Павлова была всегда страсть к картам, которая развилась в нем сильнее при расширении его средств: говорят, что он проигрывал и выигрывал в вечер по 10 и 15 тысяч и расстроил состояние жены своей, от которой имел полную доверенность на управление ее именем. Отсюда начались между супругами весьма неприятные домашние сцены, окончившиеся, как известно, разрывом и большою неприятностью для Павлова. Это подало повод Соболевскому, отъявленному врагу его, написать следующие куплеты:

Ах, куда ни взглянешь,  
Все любви – могила!..  
Мужа мамзель Яниш  
В яму посадила.  
Молит эта дама,  
Молит все о муже:  
– Будь ему та яма  
Уже, хуже, туже...

и т. д.

Говорят, что известное четверостишие Соболевского:

Не в ту силу, что ты жалок,  
Не даю тебе я палок,  
Но в ту силу, что мне жалки  
Щегольские мои палки —

было написано им также на Павлова. Откуда истекла ненависть Соболевского к Павлову, я не знаю; но известно, что Соболевский всегда носил с собою афишку, в которой был возвещаем бенефис каких-то трех посредственных актеров и в том числе Павлова. «Это я так берегу, на всякий случай, – говорил Соболевский, – если Павлов забывается, я обыкновенно вынимаю на этот случай эту бумажку и издали молча показываю ее ему». Павлов, сделавшийся литератором и светским человеком, страшно боялся, чтобы ему напоминали о его прежнем поприще...

Впрочем, Павлов пользовался вообще репутацией очень либерального и неподкупного человека, – по крайней мере, в кругу известных московских литераторов. Он был очень хорош с Аксаковым, Хомяковым и Шевыревым, хотя имел совершенно западное воззрение и не разделял нисколько их славянофилизма.

В то время (это было в конце 40-х годов), когда мы с Сатиным приглашены были в Соколово праздновать рождение Каролины Карловны, семейные отношения супругов уже начинали колебаться. Г-жа Павлова взяла слово с своего мужа не брать в руки карт. Он держал это слово: сам точно не брал их в руки, но просил играть за себя других... Супруга не подозревала этой хитрости, и колебавшееся домашнее спокойствие кое-как еще поддерживалось... Я сказал, что мы приехали в Соколово в четыре часа и что хозяин дома занимал нас более часа своими рассказами в ожидании супруги. Аппетит уже начал беспокоить нас, но в четверть шестого растворились двери – и Каролина Карловна, накрахмаленная и нарядная, появилась с большою торжественностью.

Она удостоила обратить на меня особенное внимание и предложила мне руку, чтобы пройтись по саду.

Николай Филиппович с остальными гостями последовали за нами. Едва сделали мы несколько шагов, как Каролина Карловна объявила мне, что она пишет большую поэму под названием «Кадриль», и начала мне декламировать из нее отрывки наизусть с пафосом и с драматическими жестами. Мы обошли все аллеи довольно большого сада, а декламации не предвиделось и конца.

Николай Филиппович решился воскликнуть:

– Что же, Каролина Карловна, мы будем сегодня обедать? Уж шесть часов.

– Ну, прикажите подавать, – отвечала она и продолжала декламацию.

Наконец мы подошли к столу. В эту минуту в столовой появились маменька и папенька Каролины Карловны, старичок и старушка очень приятной наружности. Они очень скромно уселись за стол, с подобострастной любовью и уважением посматривая иногда на свою талантливую дочь, перед авторитетом которой они преклонялись безусловно. Отец Каролины Карловны имел слабость к живописи и малевал какие-то картины; мать вязала чулки и исполняла обязанность ключницы...

Дочь царила в доме и хлопотала только о том, чтобы придать ему аристократическую наружность и некоторого рода живописность. Она, говорят, даже осматривала туалет маменьки и папеньки перед их выходом к гостям...

Маменька была одета с немецкою аккуратностью и щепетильностью, в отлично сплюенном чепчике и в искусно гофрированном воротничке около шеи. Папенька в летнем пальто цвета небеленого батиста. Длинные серебряные его волосы с тщательным пробором на середине головы спускались до плеч. Эти две фигуры были точно сняты с какой-нибудь фламандской картины.

За обедом более всех говорила, конечно, сама хозяйка дома. Предметом ее разговора была литература и описание гениальных способностей ее сына...

Каролина Карловна выражала большое неудовольствие на Белинского, который неуважительно отзывался о поэтическом таланте Хомякова в «Отечественных записках», замечала, что каждый стих Хомякова звенит, как золото, и в доказательство продекламировала несколько стихотворений его. Затем она перешла к своему собственному таланту... В ту пору только что появились в «Отечественных записках» стихотворные пародии, и г-жа Павлова объявила, что недавно, гуляя по саду, она также вздумала импровизировать пародию – и надеется, что эта шутка не хуже петербургских пародий.

– Я вам прочту ее, – сказала она.

Она положила салфетку на стол и, приняв торжественный вид, начала декламировать...

Николая Филипповича подергивало... Г-н и г-жа Яниш с благоговейным восторгом следили за дочерью.

Николай Филиппович, впрочем, сам в это время был еще в восторге от стихов своей супруги и нередко при ней читал нам наизусть ее стихи, причем она обыкновенно величественно улыбалась и значительно поглядывала на нас...

Кетчер был довольно близок с Павловым, но не любил бывать в его доме, потому что не чувствовал расположения к его супруге. Г-жа Павлова не могла также питать к нему особенной симпатии. Своей фигурой, своими жестами, своими криками, своим хохотом, своею непрощенною резкою правдою и вообще своею циническою бесцеремонностию – Кетчер был неудобен для дома с такой великосветской обстановкой... В его присутствии нарушалась щегольская чопорность и оскорблялась искусственность этого дома.

Что касается до меня, то я очень любил быть вместе с Кетчером у Павловых.

Контраст между им и хозяевами дома со всею их обстановкой был очень забавен. К тому же, надо сказать правду, без Кетчера у Павловых была тоска нестерпимая, потому что уж все в этом доме было как-то слишком изящно, чинно, прилично и рассчитанно...